
ОЛЕГ ИГНАТЬЕВ

“Я ДЕРЗАЮ ПРОДОЛЖИТЬ ПУТЬ ДАНТЕ...”

Все чаще мы говорим о том, что отчаяние, уныние – грех, что надо крепиться и верить. Верить в Свет, верить в разумное и вечное. И мне сейчас отрадно сознавать, что Юрий Кузнецов всегда старался пресекать грех суесловия, печали и уныния, и несмотря на то, что когда-то сказал:

*Одинокий в столетье родном,
Я зову в собеседники время*

– он относился к нам, как к собеседникам, которые умеют слушать и запоминать.

Во время обсуждения стихов того или иного автора Кузнецов был предельно серьезен, требователен и к форме и к содержанию отобранных произведений, причем требовал от нас безоглядной честности.

– Как чувствуете, так и говорите. Не льстите друг другу. Лесть штука подлая. Настоящий талант выдюжит, а мнимый вряд ли нас интересует. Повторяю: не жалейте друг друга. Следите, чтобы образ в стихах не являлся самоцелью, украшением. Следите за точностью поэтического слова, за языком всего стихотворения, всей обсуждаемой подборки. Все время спрашивайте себя: автор – человек умный? Валяет дурака или действительно глуп? У многих ведь поэзия довольно глупая. Впрочем, это уже и не поэзия. Стихи, как говорит Кожин. Бойтесь писать стихами о стихах другого. Когда поэт пишет о поэте, он должен соответствовать ему. А для этого нужно иметь мировоззрение. Того, кто умничает, быстро забывают. Образ поэтический – это образ естественный. Забудьте уклончивую форму “стихи обращают на себя внимание”. Мы не литгруппа. Нам нужна фигура. Поэт. Нам нужен создатель своего мифа, своей судьбы. Избегайте в своем творчестве интеллектуально-го хамства, запанибратства с теми, о ком пишете. Особенно когда пишете о людях с трагической судьбой. Николай Тряпкин назвал Клюева Аввакумом XX столетия, но тут он преувеличил, никакой он не Аввакум. Аввакум для меня выше, можете оспорить. Повторяю, самое главное – мировоззрение поэта. Язычник – безбожник – советский продукт. Следите за тем, как вы пишете. От чего исходите? От замысла? От строки? От какой-то суммы идей, эмоций? Избегайте заданности, тенденциозности, Поэт мыслит образами, а не идеями. Не иллюстрируйте идей, бойтесь “коллективного сознания”. По-

Окончание. Начало в № 2.

стоянно задавайтесь вопросом: кому нужна ваша поэзия? Журналам или сердцу человеческому? Бойтесь невесомости. Есть поэты будущего, но только плохого будущего. Идеи могут быть верные, а стихи все равно глупые.

Говоря обо всем этом, он помогал себе рукой, жестикулировал, замедлял речь, тщательно взвешивая и подбирая слова.

— Мало чувствовать слово, важно видеть, понимать, как слова можно расставить. Следите, чтобы одна строка не мешала другой, одна строфа не затмевала все стихотворение. В Литинституте очень хорошая библиотека. Используйте свое пребывание в Москве так, чтобы появилось пространство для роста. В творческом смысле. Не должны быть строфы сильнее стихотворения. Рубитесь смело, отстаивайте свое видение мира.

— Ну что, господа офицеры? — начиная очередное занятие, спрашивает мужской состав семинара Кузнецов. — К встрече с Вадимом Кожиновым готовы?

Мы дружно приветствуем Вадима Валериановича, как своего хорошего знакомого и блестящего публициста, обладающего темпераментом бойца и энциклопедическими познаниями.

Для многих он пример потрясающей литературной интуиции, первооткрывателя значительных поэтов. Я тоже обращал внимание на тех, кого он отмечал в своих статьях. Это потом уже, на вечере, посвященном годовщине смерти Вадима Кожинова, Юрий Кузнецов с горечью скажет, что “Вадим заводил новых поэтов, как заводят котят”. Чтобы было кого гладить. Сначала восхищался и ласкал, а как только поэты перерастали себя, охладевал к ним, искал иной талант и пестовал его, утверждая себя в роли нарицателя имен. Законодателя литературной моды.

Думаю, что это не могло не обижать его любимцев.

Кузнецов мне как-то сказал, что и “Виктора Лапшина я ему подкинул. Пускай тешится”.

Поприветствовав нас “господами офицерами”, Кузнецов занял место за своим “учительским” столом и указал Вадиму Валериановичу на стул рядом с собой.

— Вот критик и литературовед, который будоражит умы у нас и за рубежом лет уже тридцать, наверное.

Подумав, что бы еще сказать, Кузнецов чуть отстранился и посмотрел на Кожинова сбоку.

— Ну, говорите, что хотите.

Не знаю, возможно, между ними в очередной раз “похолодало”, но какой-то душевности, открытости что ли, я не почувствовал в тот день ни со стороны Кузнецова, ни со стороны Кожинова, ни от них обоих сразу, когда они вдруг заговаривали одновременно и, спохватившись, умолкали, как бы предоставляя слово другому. Во мне сразу отозвалась кузнецовская строка из посвященного Кожинову стихотворения:

Друг от друга все реже стоим,

и еще:

Но косится в бою твой зрачок.

Тем не менее Кожинов сразу заговорил о величии и грандиозности русской философской мысли, о Бердяеве, о его вторичности по отношению к Константину Леонтьеву, об Аполлоне Григорьеве, о том, что читать мыслителей XX века легче, так как в них больше беллетристики, о том, что пророчества Лермонтова и Достоевского, равно как и многих других философов, беспримерно верны.

— Все они сбылись, — с внутренней гордостью за действенное слово наших провидцев сказал Кожинов и еще раз подтвердил верность пророчеств. — Все свершилось, как они и говорили, предостерегали. Таким образом, мы с вами уясняем, что творческий дар — выше исполнительского мастерства, собственно искусства. Недаром Пушкин не одобрял избыток искусства, но приветствовал избыток творчества. Но главное даже не в этом. Главное в том, что язык поэзии — язык особенный, божественный.

Кто-то спросил: а возможна ли гармония в стихах неверующего поэта?

– Вполне, – ответил Кожинов, – Дух дышит, где хочет. Отсюда – истинный поэт всегда счастлив, пусть даже судьба его трагична. И счастлив он тем, что у него светлый жизненный путь. Это если он осознал себя поэтом, а вот если в нем слишком много человеческого, “от мира сего”, тогда он может быть “избранным и ничтожным”, перефразируя Пушкина, в суете житейской убивающим в себе дар слышать Бога. Все это имеет самое непосредственное отношение к разбираемому вопросу. Слышать – не значит верить. Другое дело трудиться над стихом. Яков Полонский, современник и друг Тютчева, и даже его сослуживец, писал: “Трудиться над стихом – для поэта то же, что трудиться над душой своей”.

– Душа обязана трудиться? – слышится чья-то реплика, и Кожинов увлеченно развивает эту тему.

– У каждого поэта все его творчество проникнуто какой-то сверхидеей, единым пафосом. И пафос этот мной усматривается в том, что у русского поэта, как и у русского языка, должны быть мужественность и великолепие.

– Прекрасное должно быть величаво?

– Да. И в наши дни этот завет насущней многих. Сегодня, как никогда, надо иметь мужество мыслить правильно и независимо. Поэзия – это Голгофа. Так же, как судьба – это уже неволя, тесные ворота жизни, ибо есть иная Воля и безбрежность бытия. Те, кто играет в поэзию, лгут на себя, искажают судьбу.

– Они все искажают.

– Они борются с Богом.

Начинается довольно оживленный обмен репликами, и Кожинов снимает очки, чтобы протереть стекла. Затем он начинает говорить о том, что для русской классической поэзии характерно единство трона и алтаря, явно вытекающее из зороастризма, проповедовавшего безропотное подчинение Высшему Божеству и монарху, помазаннику Божьему, осененному благодатью свыше. Просвещенная монархия – вот идеал русской культуры, политического устроения. Интуитивная тяга к порядку, иерархии, незыблемой табели о рангах, шкале ценностей. А во что, мы видим, превращается литература? В аттракцион. Пестрое мелькание имен, и даже нет – фамилий, псевдонимов, коловращение изданий, не читаемых никем, разве что самими авторами.

Живая стремительная речь его если и прерывалась, так чьей-либо согласной репликой или глухим покашливанием. Курил он, как и Кузнецов, довольно много. Возможно, сказывалась и простуда.

– Поэт знает: молчанье всегда благодатно. Особенно уединенное. Поэт, чью Музу осенял Всевышний своей надмирной благодатью, навек избавлен от одиночества. Поэту, прикоснувшемуся к совершенству, уловившему гармонию, явленную в слове, в музыке стихотворения, никогда не тесно в среде литераторов, собратьев по перу. Есть дело до всех в то время, как до него ни у кого дела нет. Его, как правило, не замечают. Не чувствовать он этого не может, но никакой обиды не таит, даже тогда, когда он попадает в круг забвения, под непосильный гнет общественного забвения. Он знает: совершенное – вне времени, вне суетных оценок власть имущих и дерзающих на эту власть.

В этих утверждениях мне слышались слова поддержки и возможное сочувствие.

– Всякая жизнь от Бога, но не всякий талант от него, – продолжал Кожинов. – Есть таланты демонические, разрушительного свойства, ненавидящие совершенство, презирующие благодать. Они быстрее выявляются в толпе – самой толпой. Оно и понятно: любая маска в кругу лиц, личина среди ликов – сразу бросится в глаза, увидится нарочно. Толпа запоминает ужас. Оскал, гримаса действуют на нервы, вызывают крик. А этого-то, в сущности, и ждали. Результат, как говорится, налицо: талант замечен. Но, – тут Вадим Валерианович развел руками, – пустая посуда громко гремит. Каждому воздастся по делам. Каждому свое. Кому – при жизни, кому – при Вечности. Можно сказать: падший ангел, но трудно представить падшим Дух. Когда мы говорим “духовность”, мы имеем в виду просветленность. Последнее время под духовностью требуют понимать некую сумму усвоенных знаний, правил поведения, определенный этический налет на восприятии культурных ценностей, образованческую элитарность, которые ни в коей мере не являются духовностью. Разве что робкой предпосылкой ее, и то с оговоркой. Смирение

паче гордыни. Блаженны нищие Духом. Духовность – понятие религиозное. Святое.

– А как быть с мастерством? И что это такое?

Кожинов кивнул, показывая, что готов ответить.

– Мастерство – понятие ремесленное. И поэт “милостью Божьей” зачастую им не обладает. Отсюда неровность его творчества, большая амплитуда взлетов и падений. Стихи, написанные поэтом по вдохновению, всегда отличаются от тех, что написались по инерции. Пушкин – это “наше все”. Но далеко не все его произведения соответствуют этому “всё”. И у него были приступы бумагомарания, обращения к рифме в минуты, “когда не требует поэта к священной жертве Аполлон”. Лучше бросить стихи недописанными, нежели доделывать их в глухоте. Кстати, Пушкин нам оставил много незаконченных стихотворений, своеобразных эскизов, набросков. А возвращаясь к теме мастерства, можно сказать, что чем меньше в стихах “искусства”, тем ближе они к совершенству. Главное, чтобы присутствовало чувство меры, полноты. “Соразмерность и сообразность”, по словам Пушкина. Даже чрезмерная искренность может показаться ложью, вызвать неприятие. Подумать только, кто ходил совсем недавно в “мэтрах”, в мастерах! Вячеслав Иванов, Брюсов, Белый. Стихов наворочали горы, а до поэзии не добрались. Не далась она умникам, избежала их рук. Про советскую поэзию вообще говорить трудно. Если бы не такие имена, как Рубцов, Передреев, Чухонцев, Юрий Кузнецов, но это уже демонстративный отпад от системы... Каких только умников ни возносили, ни утверждали на пьедесталах! – можно было и отчаиваться. А скольких объявили гениями – пальцев на руках не хватит. Но гениальное не значит совершенное. Бывают ведь и злые гении, как злые мастера. Мало внести гармонию в стихи, когда надо – “внести гармонию в мир”, по сверхзадаче Блока. Значит, надо слушать, надо слышать Бога... Поэт – его помощник и его сподвижник. А грех многописания приводит к глухоте. А глухота – плохой помощник для поэта, обладай он даже чудным голосом и утонченным чувством, усиленными музыкальной памятью. Чтобы петь, надо слышать. Слышать все, что происходит в мире. – Вадим Валерианович охватил руками невидимый нам шар, и этот его всеобъемлющий жест был выразительнее многих слов. Он говорил о целом, о едином и безмерном.

– Могучий слог и широта поэзии Юрия Кузнецова происходят оттого, что слышит и понимает, слышит надмирное и понимает родное, понимает, что произошло с Россией.

Кожинов на какое-то время умолкает, поправляет очки и всматривается в наши лица, словно хочет убедиться, что слова его доходят до сознания слушателей, находят в душах отклик.

– Интерес Кузнецова к русскому фольклору не случаен. Как не бывает ничего случайного в жизни поэта. Особенно в России. Дело не просто в том, что все сказки осуществились. Все волшебства произошли. Необходимо уяснить следующее: все, о чем человек думает, чего страстно желает, может произойти. Главное, не терять мужества. Не смотреть на Запад.

Во время перерыва я разговорился с Кожинным об историческом пути России, о панамериканизме и мировом правительстве, и, как это всегда бывает, одна тема тотчас влекла за собой другую, и я сказал, что изучаю генеалогию нескольких дворянских родов, собираю все, что касается рода Игнатьевых, и он предложил мне записать его домашний телефон, просил звонить “буде нужда”. В скором времени он познакомил меня с крупнейшим специалистом в области русской генеалогии Юрием Борисовичем Шмаровым, который, несмотря на свои и хвори и преклонный возраст, любезно и с большой заинтересованностью подсказывал мне пути поисков. Но главное, что я уяснил для себя из бесед с Вадимом Валериановичем, – это то, что он за реставрацию, за подлинное возрождение России со всем, Богом ей данным, мироустройством.

– Подвижки к этому есть, – сказал Кожинов. – Четырнадцатого октября тысяча девятьсот семьдесят девятого года в Успенском соборе Кремля прошло богослужение. Семьдесят один год стояла в Храме тишина. Теперь звучит молитва.

Заговорив о православных святынях, я коснулся иконописи и сосуществования различных ее школ, творчества Рублева и Дионисия.

– Вы еще и художник? – спросил Вадим Валерианович.

– Больше в душе, – замылся я. – Не выставляюсь.

– Тогда вам будет интересно, – он приподнял ворот водолазки, тронул очки на переносице, – у Павла Корина есть незавершенная картина: “Явление Антихриста народу”. Так я ее называю. На ней изображен упоминаемый сегодня Успенский собор, и на его фоне – народ: священнослужители и прихожане. . . Все с ужасом и гневом смотрят на того, кто вошел во двор Кремля, идет к собору, чтобы выгнать их. . .

– А после уничтожить, – добавляю я. – Путь за Спасителем через Голгофу.

В разговоре мы сходимся на том, что религия – любая – дает ощущение целостности человеческой жизни. Наполняет ее смыслом.

Слушая Вадима Валериановича, я вспоминал кузнецовские строки об “орлиных кругах” его беседы и втайне завидовал тем, кто мог общаться с Кожинным намного чаще и пространнее, хотя и Юрий Кузнецов давал нам четкие ориентиры.

Вот еще одна из записей его высказываний.

– Есенин не боялся быть предельно искренним, мог плохо сказать о себе, и Вы не бойтесь. Но искренность должна вести за собой, а не отталкивать. За ней должен усматриваться свет.

– Угловатость хороша в двадцать лет.

– Лирический герой – это порча сознания.

– В стихах должен быть выход. Особенно в исповедальных. Как в жизни.

– Кто лицедействует, тот мучает себя.

– Поэт днем и ночью должен думать стихами. Очень хорошо прочищает мозги Чаадаев. Учит оттачивать мысль. Надо читать Паскаля.

Беседуя с нами и размышляя вслух, Кузнецов нередко занимает свои руки или томиком чьих-то стихов, или списком слушателей, или сгибает и разгибает в пальцах канцелярскую скрепку.

Думая о чем-то своем, как бы в продолжение темы, начатой на семинаре, Кузнецов говорит:

– Блок упрекал Бунина в пограничности мировоззрения.

– Да и Пушкин, бывало, срывался.

– Фигура сложная. Но гений выводил его на верный путь. – Кузнецов неспешно движется среди толпы, вернее, возвышаясь, проходит сквозь людское скопище возле метро и изредка поглядывает на меня: не отстаю ли? – Помните, конечно: “Люблю я пышное природы увяданье. . .” Вот эпитет! Куда уж богаче. За богатством, за глубиной и точностью эпитета всегда стоит мировоззрение. Многие ведь перелистывают классиков, не учатся.

– Имеющий уши да услышит, – говорю я без особой жалости к таким читателям. – Выше себя не прыгнешь.

– А пытаются, – усмехается он и, пропуская какую-то женщину впереди себя, сворачивает на Кузнецкий мост. – Высший класс – передать смутное точными словами.

– Не жизни жаль с томительным дыханьем. . .

– Да, – улыбается Кузнецов. – Афанасий Фет! Бывает смутность пленительная, как у Блока. А вообще, мысль надо брать, как голову змеи, мягко и точно.

Я чувствую восклицательный знак в его интонации, вижу его улыбку, и мне становится как-то легко и уютно рядом с ним на знобящем ветру. А он, словно почувствовав мое состояние, неожиданно говорит:

– Это хорошо, Олег, что в своем творчестве вы смотрите на классиков, а не на идущих рядом.

Я ошеломлен, польщен такой оценкой, а больше всего тем, что он не требует равняться на него. Смотреть, как говорится, ему в рот. Я что-то отвечаю невпопад, благодарю за поощрение моих литературных взглядов, а сам душой и сердцем радуюсь за Кузнецова, за его подлинное величие и мировоззренческую широту. Ведь от кого я только не слыхал, что Кузнецов потребует прямого подражательства, что если он кого и видит, так это явных его эпигонов. Выходит, что неправда ваша, господи хорошие! Свою слабость переключаете на его плечи, да его же еще и хулите. . . Не грех?

Как-то на одном из занятий мы коснулись интересной темы: влияния имени на судьбу, и я подумал, что на русской земле имя Юрий – это тот же Георгий. Георгий Победоносец. И что Кузнецов идет своим путем победоносно, утверждая выстраданное слово.

*На высоте твой звездный час,
А мой – на глубине,
И глубина еще не раз
Напомнит обо мне.*

Он не мог не знать о гибельности глубины и не страшился отвечать на ее зов.

– Не бойтесь заглянуть в себя, – учил Кузнецов. – Нет большей глубины, чем та, что внутри вас. Выплескивайте тайное наружу. Это пробуждает сознание, проясняет мысль. Есть мистическое поверье: запишите свой навязчивый сон, только подробно, и он от Вас отстанет, оставшись на бумаге.

– Чтобы понять природу смеха, – говорил он в другой раз, – читайте Михаила Бахтина, читайте Франсуа Рабле. Я попытался уловить раблезианский смех, но жизнь наша бледна, бедна гротеском.

Обсуждая чью-то подборку, в которой большая часть стихов была посвящена деревне, он сказал следующее:

– Сейчас, когда деревня сметена, уничтожен ее быт, “Лад” Василия Белова, как могильный камень. Достоевский вообще не знал русской деревни. А надо бы знать. Русская изба – это что-то сверхзагадочное. Народ жил в космосе. Делайте свой космос. Изучайте домашние символы.

– В моей жизни, – сказал Кузнецов, меняя тему разговора, – очень много значит “Слово о полку Игореве”. Непостижимая глубина и тайна. А вообще в нашей литературе дети лучше отцов, центр тяжести народного идеала смещен к будущему.

Кузнецов выдержал паузу, затем продолжил:

– Помните об идеале. Соответствуйте. Еще Николай Васильевич Гоголь отметил, что наша литература делалась людьми молодыми.

Когда мы заговорили о женском и мужском началах в жизни и творчестве, Кузнецов усмехнулся.

– Все сводится к одному: есть ли душа у женщины?

Тему абстрактного и реального в искусстве он прокомментировал буквально:

– Абстрактное мышление восстанавливается через десять лет после последней выпивки, – и рассмеялся, словно отвергая все возможные домыслы об абстрактной сути его творчества. Дружеских застолий он не избегал, и мы все это знали.

Во время одного из перерывов, когда мы оказались рядом, он снова вернулся к теме “черного человека”, к творчеству Чехова и, словно убеждая себя лишней раз, согласился со мной в той части, что “Дух руководствует, а душа – ведомая”, отметил мое стихотворение, где я говорю: “Так спасительней в народе Не душа, а Дух”.

Дух качествами не обладает, а душа их имеет.

– А вообще дела наши печальны, – загасил он окурочек в пепельнице. – Печальны и темны.

Я понял, что последние его слова касались ситуации в стране, и высказал мысль, что от поэтов будут требовать не лирики, а мужества. Державинской мощи и его гражданской смелости.

– Цените Державина?

– Считаю мощным.

– Это хорошо, – одобрил Кузнецов, – Мощь – мужское качество.

Как всегда, он говорил сдержанно и кратко. Правда, бывали минуты, когда оживлялся больше обычного.

Я заметил, если семинар по той или иной причине был немногочисленным, Кузнецов тяготел к шутке, блистал остроумием, касался тем легко и безоглядно.

– А дева русская Гарольда презирает! – цитировал он Батюшкова, когда кто-то из украинских поэтов начал возвеличивать значение католицизма в западной культуре. – Природа не ошибается.

В другой раз цитировал индусов:

– Без сердца мы шелуха погибшая.

Случалось, принимался диктовать.

– Меньше информации. Больше образов. Не спешите за рифмой, следите за мыслью. Веретено – символ судьбы. Оно поет – жизнь продолжается.

Художник начинается там, где кончается документ. Поэт — духовное, художник — материальное. Лермонтов — поэт и художник. Взаимовлияние и обогащение. Уравновешивание.

Когда он говорит “художник”, я понимаю, что он подразумевает живописца.

— И еще, — говорит Кузнецов. — красота диалектична.

Закашлявшись, оправдывается.

— Много курю, надо бросать.

— Нет ничего легче, — улыбается болгарин Валентин Качев. — Марк Твен раз сто бросал.

Мы смеемся, и Кузнецов продолжает:

— Без интуиции поэта нет. Вот почему к фольклору надо подходить интуитивно, иначе будет не поэт, а стилизатор. Просветитель.

Заканчивая семинарское занятие, внушает:

— Поэт должен творить, а не повторять.

Когда он встает из-за стола, я думаю, что Кузнецов полускиф: “очи раскосые”, но не жадные.

Добрые.

Идя к нему, к его живому образу, который навсегда запечатлелся в моем сердце, я все равно читаю свои записи: “Сегодня Ю. К. в темно-синем свитере, темно-сером строгом костюме. На улице мороз. Лицо порозовело. Вертит в пальцах скрепку. При выступлении того или иного “подопечного” он очень внимательно слушает, и если вставляет реплику, всегда точную и краткую, просит извинения: — Извините. Продолжайте”.

А вот моя запись от 26 ноября 1989 года: “Сегодня Ю. Кузнецов величествен и задумчив. Но иногда улыбается, кротко и обаятельно”.

— У Рубцова был явный комплекс деревни в городе. Вечное желание удивить, стать вровень, возвыситься. Но это на бытовом уровне, в общении.

— Я гений, но я прост с людьми? — вспомнил я рубцовскую реплику из статьи Юрия Кузнецова о литературном общежитии и весь подался вперед, ожидая ответа.

Кузнецов улыбнулся.

— Ну, какой он гений...

Мы смеемся. В самом деле, “два гения на одной кухне — это много”.

Касаясь песенного начала в стихах, он жестко изрекает:

— Песенников я терпеть не могу. Настоящий поэт выражает нечто иное. В нем ощутим аристократизм духа. Вспомните Пушкина: “Ты царь, живи один”.

Он сжимает губы, разгибает скрепку, пытается согнуть ее в кольцо.

— Не доверяйте реальному. Идите в глубину.

Согнув скрепку в кольцо, добавляет:

— Разгадывайте знаки.

Следующая моя запись в дневнике помечена пятым числом декабря.

“С утра метет. На столбике термометра -5° по Цельсию. Кузнецов в новой фланелевой сорочке с расстегнутым воротом”. Галстук, я заметил, он не любит. Если он с галстуком, то ворот сорочки расстегнут, а узел галстука ослаблен.

Сегодня мы говорим о женском начале в поэзии, о том, что мусульманский Восток держит женщин в очень строгих рамках, волю не дает, не отпускает, понимая, что она начало жизни, а жизнь штука серьезная и баловства не терпит.

— Тарас Бульба вообще жену не видел. А взяв отца Григория Мелехова, — начинает говорить Кузнецов, развивая мысль о необходимой строгости в семье. — “Жена да убоится мужа своего”, и дом не распадется. И Отечество в своих границах. — Он о чем-то задумывается, потом продолжает: — Я сам с Кубани. Казаки держат в доме верх. — И неожиданно признается: — Мой идеал — Душечка из одноименного рассказа Чехова. — Какое-то время он снова молчит, затем в его голосе звучат ирония и сожаление: — Но они, эти Душечки, проходили мимо меня.

— Господь знает, что делает, — уловив иронию в его признании, говорю я, поскольку сидим мы с ним друг против друга. — Если попадется Душечка, будешь счастливым, а если нет — станешь философом.

— Однако, — подает кто-то реплику, и мы смеемся.

— Женщину надо держать в узде, — убеждает нас Кузнецов, — когда идет коса на камень, ничего не получится. При всем при том, что идеального муж-

чины и подобной ему женщины не существует. Индусы говорят, что по их мифологии у Творца не осталось материала на женщину после сотворения мужчины, и он создал ее из трепетания травы и прелести цветка.

– Считай, из ничего, – оглядывает сокурсниц Игорь Тюленев и сокрушенно произносит: – А я считал, что из ребра.

– Китайцы говорят проще, – вспоминаю я древневосточную мудрость, – “Женщина – это пустота”, – и разговор наш сводится к тому, что человечество слабеет, а эпоха при внешней избыточности женских черт испытывает внутреннюю недостаточность, какую-то надменную ущербность.

– Женщина и у чужих, в гостях несет свое, – говорит Кузнецов. – Стихия мутная... Хозяин от жены без меры терпит зло, или, как сетовал античный лирик Семонид: “У кого жена, тому не к дому гость”.

Он давно уже согнул скрепку в кольцо и вертит его на пальце.

– Моя жена восточная, гостеприимная... Я столько друзей потерял из-за их жен. Смотрят, как на зверя.

Он презрительно сжимает губы, а мужское братство семинара истово вздыхает. В самом деле, какое мужское сердце не дрогнет после этих слов сочувственно и благодарно: воистину так! Жены братьев ссорят, а друзей... Примерам нет числа.

– У женщины много загадок и одна разгадка: материнство, – заступает кто-то из поэтов за женскую половину курса. – Почитайте Ницше. “Так говорил Заратустра”.

– Мы говорим о том, что женщина плохо понимает свою природу, – охлаждает полемический задор оппонента Кузнецов. – Особенно в диапазоне творчества. Еще Александр Блок говорил Ахматовой: “Вы обращаетесь к мужчине, а надо обращаться к Богу”. Но это известно, а вот то, что я скажу сейчас, можете запомнить или записать, как это делает Игнатъев. – Он высвобождает палец из согнутого им кольца и закидывает ногу на ногу. – Я вижу три пути, по которому развивалась и развивается женская лирика. – Он сжимает губы, и морщина на его переносице становится глубже. – Истерия – Цветаева. Рукоделие – Ахматова. Подражание – общий безликий тип.

– А Светлана Кузнецова? – спрашивает Игорь Тюленев.

– В ней слишком много кровей, противоречий.

Кузнецов разгибает кольцо и выпрямляет то, что раньше было скрепкой.

– Татарско-польская-тунгусская-русская... В целом творчество ее эскизное, черновое, чуть ли не графоманское, но последние стихи очень сильные... Каждый сильный талант знает себе цену.

Помолчав, он вернулся к своим мыслям о женской лирике, о путях ее развития.

– Ни у Ахматовой, ни у Цветаевой нет чувства родства с природой. Образы природы есть, а чувства нет. Но спасибо и на том, что они сделали. Женщина должна отражать мужчину, как ясная вода. По любому русскому поэту можно сказать, как к нему в молодости относились женщины. Поэт – преодоление комплекса. Собственно дионисийское полнокровное отношение к женщине у Пушкина и совсем не то у Лермонтова. Сплошная ревность.

– А Маяковский? – спрашивает Качев.

– Сатана, – резко отвечает Кузнецов. – Разрушитель поэзии. Истерик. Сентиментальный, как все жестокосердые. Слезливый и лживый без меры. – Он говорит тоном, не терпящим возражений – Там, где не хватает чувства, появляется слезливость.

Закончив фразу и как бы подводя итог сегодняшнему разговору о женском начале в поэзии, он кладет на стол и отодвигает от себя останки канцелярской скрепки.

– Женщины не столь сентиментальны, как мужчины.

На следующем занятии, при обсуждении стихов одной из поэтесс, я отмечаю, как хорошо смеется Кузнецов, и прихожу к мысли, что человек лучше всего раскрывается в смехе. Как он смеется? над чем? Добрый смех объединяет, сближает и даже роднит. С кем хорошо смеялось, с тем хорошо жилось.

Кузнецов давал нам радость этой близости и этого родства.

– В рифме, – говорил он, – в окончании – суть строки. Я выступаю в защиту строя против верлибра. Великое значение в поэзии несет отделка окончаний. Вот кто умел зарифмовать, так это Пушкин! Его рифма блестящая. А что скажет врач?

Время от времени он обращается ко мне именно так, делая упор на моем профессиональном родстве с Чеховым, о творчестве которого мы часто говорим.

– Есть за что зацепиться, или пушкинская рифма чистая?

Кузнецов смеется, и я говорю:

– Совершенно! Чистейшей прелести... Нет слов. Пушкинская рифма целебна сама по себе.

– Ну, поскольку врач одобрил пушкинскую рифму и наше влечение к ней, будем следовать совету.

Кузнецов снова смеется и говорит о том, что судьбы многих поэтов трагичны оттого, что карманный фонарик их дарований подключают к высоковольтной мировой поэзии.

– Выходит пшик. Перегорают.

Он скрещивает руки на груди, откидывается на спинку стула.

– Малое должно остаться малым. Не всякий дар, не всякое творчество должно соизмеряться с классикой, выдерживать нагрузку сверх запаса прочности.

Чувствуется, что настроен Кузнецов довольно благодушно, даже снисходительно к литературным “легковесам”.

– Я с подозрением отношусь к циклам, – говорит он, слегка раскачиваясь на стуле. – Можно не принимать. Это мое личное. В циклах очень часто нет поэтической стихии, одни грамматические периоды. Высший класс загнать весь цикл в одно стихотворение. Но это в идеале.

“Высший класс” – любимое его определение в те годы.

Десятого февраля 1990 года мы отметили день гибели Александра Сергеевича Пушкина, порадовались тому, что возрождается пушкинское общество при Фонде культуры, вспомнили о том, что сам Пушкин отдал литературе семнадцать лет жизни, создал современный русский литературный язык.

– А что бы вы, Олег, сказали сейчас Пушкину? – неожиданно обращается ко мне Кузнецов, и желтые его глаза как будто приближаются ко мне.

– Что я родился стариком, хотя всю жизнь ребенок, – так же неожиданно для себя отвечаю я ему и обескураженно пожимаю плечами, дескать, и думать не думал об этом, а вот почему-то сказалося,

Кузнецов кивает головой, мол, понял о чем речь, и поднимает подбородок.

– Мои боги и Пушкин и Лермонтов. Причем Лермонтова я знал почти всею наизусть. Сейчас он подзабылся.

Помолчав, добавил:

– Молодость больше любит Лермонтова. Пушкин для зрелых людей.

– А полемические заметки, – спрашиваю я, – “О воле к Пушкину”, они как появились?

Кузнецов покачался на стуле из стороны в сторону.

– Я критиковал Пушкина, как говорят французы, стоя на коленях. Я бунтовал против пушкинистов. Я просто увидел путь Данте и путь Кольцова. Последний замкнулся на Тряпкине. А Пушкин потух на Блоке.

– Дантовский путь еще открыт?

Он посмотрел на меня строго и открыто.

– Я дерзаю продолжить путь Данте. Смотрите, – Кузнецов повел рукой перед собой, словно указывая на ряд текстов. – “Анчар”, “Утопленник”, “Бесы”, да тот же “Пророк” – все это Данте.

Он подался вперед, облокотился о стол.

– Есть в Пушкине описание природы натуралистическое. Я выступил против предметности. “Редает облаков летучая гряда...” Допустим, есть какие-то пределы у Пушкина. Не все ему доступно.

Заканчивая объяснение своей нашумевшей статьи, опубликованной в альманахе “Поэзия”, он простодушно развел руки.

– Я всегда смотрел на Пушкина как поэт.

Двадцать шестого февраля тысяча девятьсот девяностого года темой нашего семинара стало творчество Данте Алигьери, ярчайшего представителя древней, а точнее сказать, средневековой школы “Нового сладостного стиля”, о котором Юрий Кузнецов мог говорить как о явлении и чуде, как говорят об океане или космосе. Не зря еще Пушкин сказал: “Единый замысел Данте уже есть плод гения”. Заканчивая в тот день свой необычайно страст-

ный, долгий, оживленный разговор о Данте, о его поэтическом культе Беатриче, о трех женщинах, которые явились его сердцу, о его бессмертной и дерзновенной “Комедии”, нареченной Дж. Боккаччо “Божественной”, этой своеобразной поэтической энциклопедии раннего Возрождения, в которой поэзия все-таки восторжествовала над догматами религии и философии, Юрий Кузнецов подчеркнул ту мысль, что поэт всегда отвечает на вопрос: зачем я Богу и Бог мне? в то время, как философ озабочен иным: зачем бытие?

Так в пустоту не говорят. Он видел в нас поэтов.

Но до этого дня, до этого семинарского занятия еще надо было дожить, и пока учеба шла своим чередом, и вскоре состоялась наша внеочередная встреча с Вадимом Валериановичем Кожинным. Эта встреча в корне изменила план занятий, так как в этот день должны были обсуждаться мои новые стихи, но Кузнецов уехал и предупредил, чтоб без него “стихи Олега Игнатьева не обсуждали”.

Только в его присутствии.

При этом Кожинный не преминул добавить, что мне “это указание должно быть особенно лестно, так как Юрий Кузнецов – одна из самых значительных творческих личностей сейчас и оказывает бесспорное влияние на развитие современной поэзии”.

А я, можно сказать, всю ночь не спал. Ждал приговора.

Ладно, что Бог ни дает...

Живя в атмосфере жуткой русофобии и грядущей либеральной интервенции, каждый день ощущая себя не на родной земле, а на растрескивающейся под ногами льдине, уносимой Бог знает куда, когда нас всех отрывала друг от друга центробежная сила распада, крушения державы, и одних влекло по течению, а другие этому течению противились, я не мог не отметить, что разговор с Кожинным сразу приобрел дискуссионно-полемический характер.

Семинар наш был весьма неоднородный и напоминал ветхозаветный ковчег, что не раз подчеркивал и Юрий Кузнецов.

– Православие, Самодержавие, Народность, – не помню уже, по какому поводу произнес Кожинный, – не исчерпывает всей сложности и противоречивости социально-государственного устройства России. К первоначальной форме правления нам не прийти – время ушло, да оно и другое, качественно другое, если так можно сказать о философской категории, ибо у Бога времени нет, но там, где самодержавие, абсолют правления, “народность” явно не у дел. Когда к монархии примешивают волю масс, волю народа, появляется крамола. Крамола улучшения власти. Иными словами, ее реформация. Народность – бомба под тронем монарха. Об этом можно говорить и много и подробно, но результат будет один: народность и самодержавие – несовместимы. Дело в том, что на двух стульях не усидишь, особенно долго.

Кожинный был в своем сером пиджаке и знаменитой коричневой водолазке. Брюки заправлены в черные полусапожки.

При разговоре он, как всегда, помогал себе правой рукой, изредка поправляя на переносице свои большие очки в массивной роговой оправе, которая лишней раз подчеркивала его худощавость и костистость лица.

Говорил он быстро, увлеченно, где-то чуточку пространно и самозабвенно, с глуховатыми интонациями в голосе, или, как принято говорить в таких случаях – в нос.

– Русская литература, – отмечал он с чувством невосполнимой утраты, – литература девятнадцатого века – первородна, в то время как литература двадцатого века – вся, целиком, вторична. Особенно это касается поэзии. Поэты в отобранном виде, поодиночке, не возвышаются над общим уровнем. Нет ощущения избранности.

Взяв поданную ему записку, он снял очки и прочел ее на расстоянии, держа перед собой на вытянутой руке.

– Старческая дальnozоркость, – пояснил он со своей кривоватой усмешкой, перехватив мой взгляд. – Уже не разбираю мелкий почерк.

Прочитав записку, он сунул ее в карман и, видимо, отвечая на вопрос, быстро заговорил.

– Для поэзии двадцатого века характерна сделанность. Особенно это заметно в творчестве Есенина. Четко прослеживаются три периода. Он резко менял манеры. Так бывает, когда личность больше поэта. Иерархия ценностей должна быть несомненной. У Пушкина даже в зачеркнутых нет пошлых

слов. Не говоря уже о рифме. Тем более что русский язык – язык мало рифмующийся. Бедно рифмующийся.

– Но исключительно поэтический сам по себе, – сказал я. – Быть может, от этого проза у нас поэтична.

– А вот этого прозе – увьи! – недостаточно! – как бы отмахиваясь от этого случайного достоинства, сказал Вадим Валерианович, – равно как интересность стихов – слишком сомнительное достоинство для поэзии. Если стихи поражают сразу, что-то тут не так.

– А в журналы отбирают именно такие, чтоб на злобу дня, – высказал свое недоумение Игорь Тюленев, – в “Литературку” тоже.

Кожинов вздохнул.

– Мы говорим о поэзии. В стихи нужно вчитываться всю жизнь. Журналы – дети времени, пристрастий, баррикад. Поэзия – вне времени. Об этом надо помнить,

“Поэтов хвалят все, питают их журналы”, вспомнил я пушкинские строки и высказал мысль, что поэт или не должен думать о хлебе насущном, или невольно должен зарабатывать пером. Как быть?

– Литература, в сущности, всегда была делом состоятельных людей. Пушкин первый стал платить за строчку, – откликнулся Кожинов. – Серьезная поэзия, эпическая проза редко появляются в трущобах. Нужна другая почва. Всеобщая грамотность дала иллюзию всеобщей одаренности, а это, как вы сами понимаете, не так.

После небольшой паузы, во время которой многие из нас соображали, как же быть в литературе, не печатаясь в журналах, Кожинов продолжил мысль об “интересности стихов”.

– Возьмем творчество Брейгеля и французов-импрессионистов. Задача последних – быть интересными. Большинство их картин – это удар по глазам. Ожог. Нужно забыть импрессионизм, чтобы опять удивиться, заинтересоваться, а Брейгеля помним и не забываем, и тянет к нему вновь и вновь. – Он обвел аудиторию взглядом и подытожил: – Вот так и в поэзии. Настоящей. Поэт должен показать, что его народ – это центр мира. И если “народы суть мысли Божии”, поэт должен высказать главную мысль. Как это сделали греки. Учтывая, что в культуре участвовало не больше ста тысяч человек за весь период становления и расцвета греческого государства, какую создали литературу, до каких высот подняли поэзию, ваяние и зодчество!

Вадим Валерианович на какое-то мгновение умолк, задумался и убежденно произнес:

– Дух творческий – вот что надо культивировать в себе. Бойтесь и страшитесь публицистики. Это совершенно губительно для поэзии. И не бойтесь цензуры. Она никогда не мешала поэзии. Перед поэтическим миром цензура бессильна. Она может вычеркнуть слово, выбросить строфу, но дух поэзии она не усмирит. Цензура страшна лишь тем, кто понимает свою деятельность как паразитирование на политической ситуации. Взлет поэзии может привести к социальному взрыву, но социальный взрыв не приводит к взлету поэзии.

Я едва успевал за ним записывать.

Коснувшись темы социальных потрясений, Кожинов дал всем возможность обсудить эту проблему сообща, и кто-то увлеченно начал говорить о Солженицыне, о силе его слова, о том, что “Новый мир” довел тираж до фантастических объемов благодаря прозе “великого изгнанника”, которую журнал тогда печатал. Все это не могло не сказываться на состоянии литературных настроений и поэтических умов.

– Солженицын как пророк? – задался Кожинов вопросом, подхватив чью-то реплику. – Наверяд ли... Скорее, речь идет о замене одной трагедии другой. Его творчество – это не работа, я имею в виду творчество последнего десятилетия, это симуляция работы.

Поскольку на семинаре не было нехватки людей страстных и неистовых, и многие в излишней эмоциональности считали Солженицына “предвестником свободы”, глашатаем истины и чуть ли не мессией, в дружном братском скопище поэтов началась междоусобица.

– Да он один!

– Да если бы не он!

– Даже Твардовский сдрейфил!

Похоже. Вадим Валерианович предвидел “ход дискуссии” и был доволен реакцией “братства”.

– Время покажет, – усмехнулся он и снял очки. – Пророк он или собиратель фактов. – Протерев стекла носовым платком, он снова взглянул на шумное собрание сквозь широкие линзы. – А собирательство – это обозначение духовной жизни, но не сама жизнь. А вот кто был настоящий пророк, так это министр внутренних дел Российской Империи в тысяча девятьсот четырнадцатом году – Петр Николаевич Дурново! Вот он передал не настроение общества, а само дыхание грядущих катастроф. Заметьте, катастроф – во множественном числе.

Прощаясь с нами, он примирительно сказал:

– Не важно, кто ходит сегодня в пророках. Каждый получит свое.

После новогодних каникул никаких перемен в плане занятий не произошло, и Кузнецов занял свое место за столом.

– Здравствуйте, кого не видел, – сказал он и попросил всех садиться. – Вы видели очередь в “Макдоналдс”?

– Еще бы, – зашумели мы, – Америка в Москве...

– Как раньше в Мавзолей.

– Оголодали!

– Скоты какие-то, – буркнул Кузнецов и попросил собравшихся “активнее участвовать в обсуждении стихов Олега Игнатъева”. – Нам есть о чем поговорить.

Он взял в руки подборку и сразу обратился ко мне, прочитав мое стихотворение “И славен был, и оклеветан...”

– Отчего так много Пастернака? В техническом построении стиха? Вы больше гегельянец?

– Нет, не думаю, что это так, – ответил я. – Но если это чувствуется по стихам, тут моя слабость.

– И еще, – продолжил Кузнецов. – Душа в стихах есть, а Бога я не нашел.

– Было бы вдохновение, – пожал я плечами, считая, что душа без Бога жить не может. – Все мы “Божьи дудки”, как сказал Есенин, я ведь написал в другом стихотворении: “Так спасительней в народе Не душа, а Дух”.

– Ну что ж, – смягчил тон Кузнецов. – Главное вы понимаете.

Он еще раз перебрал листы моей подборки, отложил отдельно те стихотворения, которые отметил плюсами и своими инициалами “Ю. К.”, и сказал:

– Олег со Ставрополя. Почти земляк. Но у него нет южного говора. Нет характерного языка. Но у него есть стремление к первородству, первозданности.

– Главное, положительное, – подвел итог обсуждению Кузнецов, – Олег поэт в природе. Состояние души он возводит в нечто высокое, в память.

И вот здесь я хочу прервать на время цитирование своих записей, чтобы выделить его слова “в нечто высокое, в память”.

Дело в том, что памяти он сам служил и ревностно, и свято. Истово и непрестанно. И если все его творчество, вся его поэзия в целом – это порыв в бессмертие, то окрыляющей идеей этого порыва была память. В поисках не нового, но вечного он никогда не выпускал ее из виду. Даже написал ей “здравицу”.

*Я памятник себе воздвиг из бездны,
Как звездный дух.*

Память и беспамятство проходят красной нитью через ткань его стихотворений. Здесь и “прости, природа забывает”, и “Я видел тебя, но об этом забыл”, “Свеча горела поминальная”, “Поминайте, как звали”, “А девке на память и грезу”. “Во всех мирах мы живы, но о том забыли...”

И если можно сказать, что культура человеческого бытия – это, прежде всего, культура памяти, то Юрий Кузнецов был страстным защитником этой культуры. Ее праведником и проповедником.

В марте он пришел с охапкой красных гвоздик.

– Прекрасным нашим женщинам.

Преподнеся каждой по цветку, заговорил о живописи в поэзии, о том, что мы должны подтвердить существование Бога на Земле, и напомнил о том,

что избыточная метафоричность – это “духовное одичание” по Блоку, если метафора не держится на энергии чувств. Говоря о важности первых впечатлений в жизни творческого человека, он рассказал о своем впечатлении от Мирового океана, его поистине космического пространства, которое ошеломило его во время службы на Кубе.

– Так же в степи, в казахской шири. Купол неба. Впечатляет. Чтобы найти образ, надо найти энергию. Я переводил “Пьяный корабль” Артюра Рембо – там такая энергия! А подстрочник – набор слов. Так что читайте “Махабхарату”, “Калевалу”, Михаила Бахтина. Он рассматривает иронию как деградацию смеха. Следите, чтобы изобразительность, столь характерная для всей русской поэзии, не выпирала в ущерб энергетическому началу.

Видя, что многие записывают, он сделал паузу, посмотрел в окно, за которым роились снежинки, и чему-то улыбнулся.

– Я всегда избегал статичности. Мало читал метафористов. Зачем? Это сплошная филология, грамматическое построение стиха. Наши метафористы – ненациональны. Бенедиктов – дьявол в русской поэзии. Нам чужды волевые символы – могу верить, могу не верить. Наша задача – вернуть поэзии душу!

Высказавшись более чем эмоционально, он признался:

– Если что и хочется послушать у поэтов, а не метафористов, так это любовные стихи. На любовной лирике поэт проверяется. И почаще проверяйте самих себя. Достаточно ли эмоциональной энергии для того, чтобы стихи стали произведением искусства? Помните, говорят много тогда, когда не о чем говорить. Тоска по одухотворению – это признак мертвенности души.

Он говорит о жесте, о движении души, глаза его сияют, и я невольно вспоминаю минувший ноябрь, когда Юрий Кузнецов подарил Константину Рябенькому двухтомник русских пословиц в солидном красном переплете. Помнил и не забывал, что тот давно хотел иметь это издание, да все не мог его никак достать. Дефицит на книги был ужасный.

Константин так растерялся от столь щедрого и неожиданного для себя подарка, что от смущения даже забыл поблагодарить, а только посмотрел на цену:

– Я не знаю, как расплатиться с Вами, чем ответить?

– Хорошими стихами, – засмеялся Кузнецов.

– Вот разве что, – обрадовался Константин. – Я постараюсь.

Перечитывая свои записи, останавливаюсь на следующей.

20 марта 1990 г.

Сегодня тепло, солнечно. Многие в куртках.

Юрий Кузнецов в голубой сорочке, углы воротника соединены крупной металлической булавкой. Весьма стильно.

– Давайте поговорим о природе таланта.

Когда полемика обостряется, он сам начинает волноваться и жестикулировать. Даже слегка заикается. Самую малость.

– Всегда отвечайте себе на вопрос: талант Богом дан или же дьяволом?

Кто-то недоумевает.

– А как быть с поэтическим безумием? Иррациональностью?

– Оправдывается лишь священное безумие. От бесовщины надо избавляться, – сурово изрекает Кузнецов. – Это путь истерии. Когда в стихах видна игра, такие стихи надо понимать в филологическом плане, а не в бытийственном. Иначе с ума сойдешь. Лицедейство – низкий ряд в поэзии. Ему не веришь! Игровое – это всегда фальшивое и девальвированное. Если это и талант, то не чистой пробы. Талант – это чувство меры. Ни убавить, ни прибавить. Каждое стихотворение должно быть законченным. Талант гармонизирует даже стихию. Творец должен управлять.

На следующее занятие Кузнецов пришел с Борисом Авсараговым, сотрудником “Литературной России”, и, поговорив о ситуации в стране, о том, что вскоре поэтов вообще перестанут печатать, попросил всех отобрать для еженедельника по десять стихотворений.

– А вам, Олег, – обратился он ко мне, – надо зайти в “Наш современник”, я там отобрал ваши стихи. Вы просмотрите, чтоб нигде не повторилось.

Я был рад и благодарен за поддержку.

Вскоре я стал автором журнала.

Обсудив очередную подборку стихов, на этот раз узбекского поэта, Кузнецов и ему и всем остальным предупреждающе сказал:

– Не тщитесь быть мудрее себя. Это во многом свойство возраста. Помните: поэт выше философа!

В апреле Кузнецов уехал в Ижевск для участия в выездном секретариате Союза писателей России, и встретились мы с ним уже в конце месяца.

Речь зашла о мастерстве перевода, о том, что написать поэму очень трудно, прежде всего нужно создать миф.

– Русской поэзии не везет на поэмы. “Поэма без героя” Анны Ахматовой – это “намёки тонкие на то, чего не ведаёт никто”, – усмехнулся Кузнецов.

Во время обсуждения очередной рукописи он спросил:

– Кто читал в подлиннике Джона Донна?

Все промолчали.

Видя наше замешательство, он заговорил о попытке Ларисы Васильевой создать Ассоциацию женщин-писательниц с явным неодобрением.

– Женщины пишут слабее. Много слабого в одном издании, в журнале или альманахе, – он словно бы советовался с нами, – не знаю, нет, не понимаю.

– А может, это нас заставит писать лучше? – задалась вопросом одна из поэтесс.

– Не думаю, – со свойственной ему категоричностью ответил Кузнецов. – Станет больше приблизительного, вычурного, украшательства. А это за пределами настоящего искусства. – Он широко улыбнулся, развел руки. – Это имеет право на существование... в культуре. А мы должны отличать культуру и воплощенность чувств.

Переводя дыхание, он посмотрел в окно, во двор Литинститута, откуда доносился щебет птиц, и, заканчивая занятие, встал из-за стола.

– В условном мире подлинного чувства нет. К сожалению, у меня память не словесная, а смысловая.

Где-то уже через полгода нашего общения я отметил эту его исповедальную нотку, открытость и щедрость размышлений, постоянный самоанализ. Давая оценку нашему творчеству, он как бы давал оценку и себе. А уровень его познаний и пристрастий был до изумления высоким.

– Читайте первичных поэтов. Особенно Данте.

Летом мы разъехались на каникулы и встретились все вместе четвертого сентября на семинаре.

Кузнецов пришел в темно-сером костюме, в темно-синем вязаном под горло свитере, поздравил нас с началом второго года обучения и улыбнулся.

– Ученых учить только портить.

На мой вопрос: “А где Вы отдыхали?” он ответил, что снимал с семьей на лето дачу в Подмосковье, “оздоравливал детей”. Заодно передал привет от Вадима Валериановича, который уехал за границу читать лекции о русской литературе.

Мы сразу заговорили о том, что ситуация в стране не из приятных, уже всюду идёт дележ общественного пирога.

В перерыве Кузнецов сказал, что во всех московских издательствах нещадно урезается поэзия, резко сокращается число “позиций”.

– Таким поэтам, как Василий Казанцев, в сложившейся ситуации – конец. Он поэт истинный, но для избранных.

На книжных прилавках все больше и больше появлялось книг, изданных “за счет средств автора”.

И как-то сразу многие утратили былую живость, интерес к занятиям и к самим курсам. Москва негласно диктовала: “Спасайся, кто как может!”

Прозаики еще держались, а поэты сникли. Загрустили. Призадумались. Ничего хорошего им в жизни не светило. Если что они еще охотно посещали, так это лекции по зарубежной русской поэзии, которые вдохновенно и неподражаемо читал всеми любимый Владимир Павлович Смирнов. Хоть с ним мы душу отводили! Забывались в мире грез...

В моей душе все чаще горевала есенинская боль: “В своей стране я словно иностранец”.

Наваливалась безысходность.

“Сам ехал бы и правил, да мне дороги нет”.

Вот и Рубцов вслед за Есениным писал о том же самом, о житейском тупике. О беспросветности грядущих лет.

Одно утешало: жизнь еще никто не отменил.

Двадцать пятого сентября шел мелкий нудный дождь, листва расквашивалась под ногами, было холодно и бесприютно.

Мы встретились с Кузнецовым возле ворот Литинститута, дошли до флигеля, в котором размещались наши курсы, по старой лесенке поднялись на второй этаж.

Говорить ни о чем не хотелось, сводки с литературных “фронтов” были неутешительными.

Русских писателей теснили на задворки.

– Ладно, – прихлопнул ладонью по столу Кузнецов, – не будем раскидать. Давайте о своем, о том, что вам необходимо читать классику. – Он глазами пересчитал, все ли на месте, отметил, кто отсутствует и по какой причине, и продолжил: – Без знания Евангелия нельзя понять классику девятнадцатого века. Ни Пушкина, Ни Тютчева, ни Достоевского. Ну, никак нельзя. – Он улыбнулся и откинулся на спинку стула. – Я, значит, что скажу... Христианство возникло из иудаизма. Иудаизм несет иудеям закон, а Христианство – благодать. Об этом говорил митрополит Иларион: “Свеча закона мало значит перед солнцем благодати”. Когда человек впервые читает Библию, то обнаруживает много выражений чисто бытовых, значит, она закрыта... для европейского человека, так будем говорить. Я прочту стихотворение Гумилева “Слово”.

Читал Кузнецов слегка повышая голос, малость нараспев, больше рассказывая, нежели декламируя, без артистических приемов. Просто, ясно и доходчиво.

Его басовитый голос придавал особое звучание стихам.

Хотелось слушать.

После прочтения “Слова” он процитировал Экклезиаста, по ходу вспомнил “пленной мысли раздраженье” Лермонтова и снова помянул “томление духа”, перейдя к скрижалям Моисеевым.

– Вот, значит. Первая заповедь: “Око за око, зуб за зуб”.

– А мы щеку подставляем, – прогудел Игорь Тюленев.

– Вторая заповедь, – побарабанил пальцами по столу Кузнецов, – трижды прощай врагу своему. А в христианстве?

– До семижды семи, – ответил я, записывая закон Моисеев.

– Практически бесчисленное множество обид, – пояснил Кузнецов. – Христос говорил притчами, не надо понимать буквально. Никто не станет считать семьдесят семь да еще на семь... Христос сказал: “Не суди, и не судим будешь”. Значит, человек сам себя должен осудить в душе.

После сравнительной оценки закона Моисеева и заповедей Христа Кузнецов поведал, что Евангелие от Матфея самое древнее, написано для еврея, следовавшего за Христом.

– Евангелие от Марка писалось римлянином со слов Петра, оно написано на латыни. Более строгое. – Кузнецов сжал губы, помял лицо. – Евангелие от Луки написано на иврите, по-еврейски, он ученик Павла, а тот сам был иудеем, Савлом, преследовавшим Христа до своего духовного перерождения. Лука одобряет Матфея, обильно его цитирует.

Сделав паузу, Кузнецов о чем-то задумался, словно мысленно заглядывал в любимую им бездну бытия, прислушиваясь к древней арамейской речи сотоварищей Христа, потом, как бы отменяя рукой видение, продолжил.

– Четвертое Евангелие от Иоанна. Впервые появляется Логос. Слово – Бог. Самое философское, это Евангелие написано на пятьдесят лет позже предыдущих. Больше нажимает на слово Христа. Каждая притча Христа рассказана как бы дважды. Христос – Сын Божий, сын Человеческий. От Святого Духа и земной плоти.

Тут он снова сжал губы и через какое-то мгновение с легким вызовом сказал:

– Бог беспол, иудеи правы, когда не изображают его.

– Можно сказать о Христе, что он пророк? – спросил кто-то из среднеазиатских поэтов. – Как пророк Мухаммед.

Кузнецов развел руками.

– Христос никому ничего не предсказывал. Он не пророчествовал, как до него. Как тот же Иоанн Предтеча или другие.

– Петру предсказал, что тот трижды отречется от него, – вспомнил я “тайную вечерю”, – и еще, Матфей упоминает: “Истинно говорю вам: не останется

ся здесь камня на камне; все будет разрушено”. И действительно, Иерусалим разрушили. Выходит, пророчил. И когда говорил, что восстанет народ на народ, и царство на царство...

Дав мне высказаться, Кузнецов повёл рукой:

– Скорее, он цитировал пророков.

– Богу искусство не нужно, – говорит Кузнецов, и я начинаю записывать. – Оно противоречит борьбе Света и Тьмы. Поэт нарушает закон. Он ему как бы и противопоказан. Взять Байрона. Гёте его любил, но Байрон загубил свою искру Божью отрицанием, унынием, а уныние это грех.

– Земля кругом грешна, что делать! – вздыхаю я. – Молчать?

– Да, – улавливает мое настроение Кузнецов. – Самая страшная в мире вещь – это на свет родиться. Кальдерон. Остается претерпеть свою греховность: такими уродились.

Дав нам лишний раз проникнуться сознанием греховности искусства, он возвращается к теме Евангелия, веры и безверия, затем читает Есенина.

*Чтоб за все за грехи мои тяжкие,
За неверие в благодать
Положите меня в русской рубашке
Под иконами умирать.*

Многим из нас дороги и близки эти строки, и мы невольно умолкаем.

Кузнецов облакачивается о стол, сцепливает пальцы и подпирает щеку. Через какое-то время он с расстановкой говорит:

– Законники и фарисеи – люди мира. А Христос – не от мира сего. Помните это.

Девятого октября Кузнецов пришел в знакомом темно-сером костюме и синей сорочке без галстука. Углы ворота вновь скрепляла крупная булавка.

Оглядев присутствующих и узнав, что одна из поэтесс ушла в семинар прозаиков, он недовольно скривил губы, встряхнул головой. Усевшись за стол, сказал с явной обидой:

– Несерьезно это. Можно и из прозы вылететь!

Лицо его как-то задубело, и он периодически потирал щеку рукой. На протяжении всего занятия был особенно чуток к словам и заявлениям своей “пишущей паствы”.

Когда кто-то из приверженцев индуизма и “рериховщины” заикнулся о том, что “Христос – в братстве Света”. Кузнецов негодуя погрозил пальцем:

– Думайте, что говорите! Представьте, что Пушкин – Христос, Христос – в братстве Света... Это как? Пушкин поэт, а мы будем его считать членом Общества любителей русской словесности? Но Пушкин поэт, он сам Свет, значит и Христос больше, чем член братства Света... Он сам Альфа и Омега. Вы ничего не поняли из предыдущей нашей беседы. Забудьте Рериха. Вы русский человек?

Получив утвердительный ответ, он еще раз напомнил:

– Читайте Евангелие. А в литературе, в русской поэзии такой благой вестью является русский язык. Это главное. Поэту нужно заниматься языком, а не философствовать, вот в чем проблема. Для человека, впитавшего русский язык с кровью матери, сама интонация будет подсказывать жест. Человек хмыкает, но как хмыкает! Только русский русского поймет. Как можно живое, родное перенести в мировое? Для человека это непосильно.

Высказавшись строго и взволнованно, он откинулся на спинку стула и прихлопнул колени руками.

– Это мое глубокое убеждение.

Такой жесткой и четкой отповеди мы еще не слышали.

Все невольно притихли.

После напряженного kloкочущего молчания Кузнецов смягчил тон.

– Не будем говорить на уровне членов Союза писателей... Мы же поэты... Вот о поэзии и будем говорить... со всей ответственностью!

Послышался вздох облегчения.

Все-таки он видит в нас поэтов.

Уже славно.

Следующий семинар был насыщен теорией. Кузнецов так и сказал:

– Сейчас мы посвятим наше занятие теории. Обсудим вечную тему в ли-

тературе. Их много. В современной – мало, современная вечная тема выхо-
лощена. Даже такая, как любовная. Нет ни страсти, ничего. Стихи о любви
пишутся под предмет, а не перед лицом вечности. И даже любовь, как тема,
ускользает.

Он сидит на стуле в своей излюбленной позе, скрестив руки на груди
и слегка раскачиваясь из стороны в сторону, изредка поглядывая то в окно,
то в принесенные им книги.

– Вот еще одна тема, вечная – возвращение. Вращение, блуждание...
Я прочту фрагмент из Бахтина.

Он достает свои записи и зачитывает нам тезисы о модели мира. Видно,
что цитируемому тексту Кузнецов придает большое значение и очень хочет,
чтобы мы уяснили основные постулаты.

– В малых моделях практика определяет познание... простота и слож-
ность схемы... ложь, утаивание, утилитарность. Истина целого бескорыстна.

Я стараюсь записать все, чего не знаю, поглядывая на увлеченно читаю-
щего Кузнецова и в который раз отмечаю, что, когда он волнуется, напряга-
ется, правая носогубная складка слегка подрагивает, дергается. При этом ру-
ку он держит над столом, над бумагой, над книгой, как бы успокаивая себя
или грея ладонь над незримым пламенем. Еще я усматриваю в этом жест вну-
шения, гипноза, и невольно начинаю следить за стальным браслетом его ча-
сов, за светлым циферблатом с черными стрелками.

Иногда он пальцами правой руки расслабленно постукивает по столу.

– Бахтин указывает, что время не линия, а сложная форма, тело океана.
Чувствуя, что смысл им читаемого до многих не доходит – больно все му-
дрёно! – Кузнецов откладывает записи и морщит переносье.

– Ладно, кто захочет, почитает. Вернемся к поэзии. – Он проводит рукой
над столом, словно сглаживая некую шероховатость, и закидывает ногу на но-
гу. – В стихотворении должен быть объем. Символ креста или круга, вечнос-
ти. – Рука его потирает лоб, затем он кладет пальцы на верхнюю губу и под-
бородок и так, сквозь пальцы, говорит. – Что мы ищем? Потерянный рай.
Там, где есть хотя бы призрак возвращения, там объем”.

Далее в моем “гроссбухе” следует пропуск и запись возобновляется
13. XI. 90 г.

“Сегодня Кузнецов выглядит уставшим, и на вопрос о причине явного не-
домогания вздыхает: – Да так, – и еще глубже засовывает руки в карманы
пиджака. На нем белая сорочка в голубую тонкую полоску, ворот расстегнут,
модный пуловер. Из нагрудного кармана пиджака выглядывают красные “ко-
рочки” писательского билета.

Жить все тяжелее, все безрадостнее. Семинар наш дал трещину. Кто-то
переметнулся на прозу, кого-то отчислили, кто-то “обиделся”, не балует сво-
им присутствием.

Разговор пошел о зачине и концовке стихотворения.

Кузнецов достал из кармана большую канторскую скрепку и, как обычно,
стал вертеть ее в пальцах.

– Ну что... сначала о концах. Конечно, сильным должен быть удар.
Странное впечатление от Ронсара, у него любовные сюжеты... так вот, у не-
го последняя строка ударная. Ну, мне это надоело. Ну, чтобы это не обнажа-
ло себя, как прием: бьёт и бьёт. Можно эту энергию по всему стихотворению
распределить. Особенно в стихах, где судьба, там должен быть удар. У мно-
гих поэтов стихия лирическая не организована, они ею не владеют, не могут.
Заговариваются. Обходятся набором слов. С точки зрения мастерства это
ужасно. – Лицо его кривится, выражает недовольство. – Потеря формы, раз-
гильдяйство удручают. Как у картины должна быть глубина, так и в стихах о
природе, где река, и лес, и поле, должна быть компенсация потерянного чув-
ства природы. Пейзаж появился сравнительно недавно, в средние века. Бы-
ли элементы, части, но не целое. Городской житель утратил связь с природой
и – увидел пейзаж, картину, намек на утрату. Живя в природе, человек ее не
замечал, как воздух, просто чувствовал. Природа, она ведь и жестока, она
все слабое сжирает.

Он вертит скрепку, говорит как бы с самим собой, мы все примолкли.

Грустно.

Остаться бы в поэзии хотя б одной строкой!”

Занятие прошло угрюмо, вяло, без подъема.

Четырнадцатого мая тысяча девятьсот девяносто первого года обсуждались мои новые стихи. Естественно, я волновался, хотя примерно уже знал, что скажет Кузнецов. Во-первых, мне понятен стал ход его мыслей, мера требований к творчеству других, а во-вторых, я уже “обсуждался”, иммунитет выработался.

— Отчего Олег мятётся? — держа перед собой одно из моих стихотворений, задался он вопросом и тотчас ответил: — Он возжаждал классики. Но классики первичны, а Олег вторичный, в том смысле, что вторична вся литература... современная. Словарь поэтический, но похоже на стихи прозаика. Эпитет у Олега есть, а это воздух между предметами, деталями, силовое поле, ткань стиха. Хорошая скупость в отборе слов, человек вы экономный. В общем, путь себе Олег избрал нелегкий. Или поднимется, или сорвется с вершины.

Кузнецов вслух прочел понравившиеся ему стихи, показал, как можно их усилить, посоветовал что-то убрать, отметил плюсами “удачи”, и когда я впоследствии стал изучать его поправки, объединенные инициалами “Ю. К.”, я поражаюсь его чуткости к слову, его интуиции и пониманию архитектоники стиха. Он обладал таким редакторским даром, о котором иной поэт может только мечтать.

Говоря о классиках, взваливал ли он на мои плечи непомерную тяжесть желаемого первородства? Несомненно! Творить от сердца, от себя — задача не из легких, но он почувствовал, увидел эту мою тягу и благословил.

Вперед и выше.

Двадцать восьмого мая мы собрались на наше последнее занятие.

Кузнецов был весел, рассказывал о своей поездке на Смоленщину, родину Твардовского, где праздновали юбилей писательской организации, — много шутил, смеялся, спрашивал, сколько у нас экзаменов, покачивал ногой в коричневой сандали, давал нам возможность запомнить себя благодушным, открытым, почти что родным.

— Вот так последний раз сидим: друг против друга. Не поминайте лихом. Я был пристрастен, ориентируясь на классиков. Но думаю, не зря. Что пройдет, то будет мило. Что-нибудь доброе вспомните.

Все загалдели, выражая благодарность за науку, стали подниматься с мест, а он как-то по-свойски, по-домашнему сказал:

— Давайте посидим еще перед дорогой. Помолчим.

После написанного.

В двухтысячном году, в самом преддверии третьего тысячелетия я начал работать над созданием галереи живописных портретов русских писателей. Первым в списке стоял Юрий Кузнецов, вторым Николай Рубцов. Но поскольку “человек полагает, а Бог располагает”, мне постоянно что-то мешало встретиться с Кузнецовым, испросить у него согласие на портретирование. И телефон его домашний “набирал” несколько раз, но тотчас клал трубку, и всякий понедельник помнил, что он должен быть в редакции журнала, и порывался ехать в “Наш современник”, и... останавливал себя: не то, не то... как-то иначе все должно сложиться...

Да и что ему портрет, когда он “памятник себе воздвиг из бездны, Как звездный дух”? И “Путь Христа” осилил, опубликовал, и планы у него, я помню, были грандиозные.

Всю жизнь я слишком высоко ценю чужое творческое время, тем более поэтическое, вдохновенное, ибо мы зависим от него всецело, это время необычное, Божественное время, и урывать его у Кузнецова я не мог себе позволить. Тем паче что я знал его “Здравицу памяти”, его отношение к “миру сему”, его веру в действенность Слова и святость долга.

Наверное, у каждого поэта есть некое руководящее чувство, интуитивное предопределение, что он должен сказать, а о чем может умолчать. И это чувство должного у Юрия Кузнецова было развито предельно, чрезвычайно сильно и проявлялось в его творчестве необыкновенно ярко и зримо. В одном из давних наших разговоров о природе страсти он не без сожаления признал, что страсть почти всегда греховна, а вот в основе долга светит святость. И, может быть, оттого, что он был прежде всего человеком долга, “невольником чести”, ревнителем истины, Господь удвоил срок его жизни. Ведь когда-то поэт страстно и самозабвенно восклицал:

*К тридцати невозможным своим –
Застрелюсь или брошусь под поезд...*

Он “хотел умереть молодым”.

В этом и проявлялся страстный юношеский максимализм, безотчетный страх того груза ответственности за чистоту и глубину своего поэтического слова перед лицом Вечности, перед сонмом звезд, мерцающих над ним, страх осознания себя вечным должником, вечным работником, бескорыстным и – возможно! – безымянным тружеником на губительной “каторге чувств”.

Не мог юный Кузнецов не знать этого тяжкого вздоха гениального певца России, ангела русской поэзии Сергея Есенина, как и не мог забыть, что к тридцати годам этой чудной “Божьей дудки” уже не было в живых, она уже умолкла, тростник “певучий” был надломлен Всеблагим, и что Есенин сам – вот фейерверк гордыни – сам определил свой смертный час, свой земной срок, сам рассчитался со своим “черным человеком” сполна.

Сам, сам, сам!

Это страстное, греховное проявление собственного “я”, собственной значимости и неповторимости, возможно, и стало причиной творческого долголетия Юрия Кузнецова, удвоения того срока жизни, который был определен им для себя.

Спаситель услышал поэта – продлил его жизнь на земле, дабы душа смогла возвыситься до самоотречения, до осознания святости долга и неустанного служения Истине.

Когда-то Юрий Кузнецов начал свое стихотворение, посвященное памяти Анатолия Передреева, строкой: “Он во сне перешел свой предел”, словно молитвенно подвинул свою душу на такую участь, на такой исход “по ту сторону света”.

И Отец Небесный вновь его услышал, явил Божью милость: душа упокоилась праведно, благодно и непостыдно.

А что до портрета дело не дошло, знать, так и надо.